

переносящие в них свежий воздух деревень», описывает благодетения, оказанные человечеству изобретением машин, «вырвавших рабочие классы из лени и невежества, из тупого и бессмысленного коснения, пробудивших в них стремления к более высокому и достойному жребию в истории, вселивших в них духовные и нравственные свойства, пробудивших в них сознание того, что и они содействуют своими умственными и физическими силами великому развитию истории» (стр. 188) ⁷. Вместо того, чтобы писать подобного рода пустозвонные фразы, следовало бы познакомиться лучше с действительной жизнью и спросить рабочие классы, в самом ли деле машины пробудили в них сознание своего человеческого достоинства, вырвали их из тупого и бессмысленного коснения и пр., и хладнокровнее вдуматься в то, как и самые благотворные открытия гения, при аномальности существующих порядков, могут делать зло большинству и вести совершенно к противоположным целям. Вся выписанная нами красноречивая тирада станет действительно дельною и правдивою только тогда, когда все классы общества будут в состоянии равномерно пользоваться благодетельными открытиями гения, когда эти открытия станут служить действительно общему благу, а не частным целям богатых капиталистов, когда ложное положение, в каком находится ныне человечество, изменится и станет более соответствовать требованиям разума — а ведь так называемые утопические учения именно и стремятся к этой цели.

Но они не исполнимы, — восклицает Гильдебранд, — и сделал бы, скажем мы, большое благо человеческому роду, если б потрудились доказать основательнейшим образом свое положение. Добрые люди, занимающиеся теперь социалистическими бреднями, не стали бы понапрасну терять время, а занялись бы чем-нибудь дельным. Выходит, что каждый социалист похож на Манилова, раздумывающего о том, как хорошо будет ему, когда начальство узнает о его дружбе с Чичиковым, призовет их к себе и пр. Но дело-то в том скорее, что сам автор разбираемой нами книги отстал немного от современной мысли и слишком сильно привязался к рутинным понятиям. А известное дело, что человек, отстающий от чего-нибудь, непременно придумает и какую-нибудь благовидную причину своей отсталости: вообразит себе, что дальнейший шаг вперед невозможен, и уж не двинет ни рукой, ни ногой. Исполнимость или неисполнимость, возможность и невозможность — понятия слишком неопределенные. Что для одного века невозможно и неисполнимо, то для другого совершенно исполнимо и возможно. Есть невозможность, заключающаяся в самой сущности вещей, так сказать невозможность абсолютная, хотя и тут разнообразятся взгляды людские на сущность вещей. Одни утверждают, например, что человеку нельзя по своему произволу распоряжаться законами природы, что солнцу нет дела до наших земных занятий, что его нельзя ни остановить, ни заставить итти скорее, хотя бы какому-нибудь страстно влюбленному юноше и

сильно хотелось скорее дожидаться назначенного ему вечером свидания, в какой-нибудь тенистой аллее, при свете слабо мерцающей луны, когда вся природа предается сладострастному сну, поют соловьи и пр., что подробно воспевают г. Греков⁸. А есть люди, говорящие противное. Бывает невозможность только относительная, заключающаяся в известных обстоятельствах, и при перемене их делающаяся совершенною возможностью. Чтоб люди приделали себе крылья и подлетали на них к луне, с целью помочь г. Страхову в решении вопроса, есть ли там жители⁹, — мы считаем это невозможным и никогда не осуществимым, но в том предположении, что человечество достигнет когда-нибудь возможности управлять по своему желанию аэростатами и будет летать на них из Петербурга в Москву, не видим ничего невозможного, потому что ни в природе, ни в сущности человека не находится ничего такого, что б опровергало наше убеждение.

Конечно, если Гильдебранд считает полное осуществление утопий невозможным только в настоящее время, и притом не по самой их сущности, а вследствие случайных обстоятельств, которые также имеют только временное существование, то мы с ним вполне согласны. Но нет, неисполнимость этих тенденций он видит не в тех случайных обстоятельствах, в каких находится ныне европейский мир, не в том, что еще сильны в нынешнем обществе остатки средневековых убеждений, а в самой сущности новой теории. Она представляется Гильдебранду неосуществимою потому, что ведь «все народы живут в разных странах света, имеют различные представления и понятия, нравы и обычаи, образованность и историю». А социалисты будто так неразумны и так близоруки, что не хотят и знать народности, предполагают везде одинаковые стихии и средства цивилизации и пр. и пр. Рассуждение, как видите, справедливое и проникнутое самыми прогрессивными, либеральными, гуманными тенденциями! Национальность, народность — тонкая штука! Но, г. Гильдебранд, вы в своем увлечении народностью разных народов забыли, что есть: «одна вещь, общая всем людям, столь различным по их странам, рождению, правам, цвету, по временам, характерам, языкам, чертам лица, наклонностям и чувствам, без всякого подобия во всем, и сходным только в этом (Байрон. Сарданапал). Эта вещь самая простая и естественная — стремление людей к счастью, удобствам жизни». И именно многое-то из обыкновений народа, многое-то из его истории и служит ему препятствием к счастливой жизни. На этом основании выходит, что и рабство южных штатов вещь очень хорошая, ведь она — продукт истории тех штатов; народ, по-вашему, привык к нему, и трогать его не надо? В том и дело, что выше всякой народности стоит еще общечеловечность. То, что истинно-человечно, истинно-разумно, найдет себе симпатию во всех народах, — за то мы и считаем китайцев людьми, чуждыми истории и прогресса, что они не принимают общечеловеческих идей, живут только китайскою, а не человеческою жизнью. Разум один и тот же под

всеми широтами и долготами, у всех чернокожих и светлорусых людей. Конечно, в американских степях живут другие люди, чем в русских деревнях, и на Сандвичевых островах обитают господа, не похожие на английских джентльменов; но ведь и русскому мужику и дикарю, так же, как высокопочтенному римскому кардиналу, хочется, думаем мы, есть, а затем, чтобы есть, хочется что-нибудь иметь. Стремление к улучшению своего положения составляет существенное свойство всего человечества. Если бы новые теории были противны природе человека, они и не пошли бы дальше той страны и тех людей, которым угодно было выдумать их, не стремились бы к ним все народы образованного мира. Если бы людские дела шли нормально, то военное положение, в каком находится ныне европейский мир¹⁰, давно бы прекратилось, и не понадобилось бы тогда обществу платить деньги за штыки и пушки. Неисполнимость мечтаний, как вам угодно называть их, заключается вовсе не в сущности самых «мечтаний», а в том отпоре, какой дают им элементы, поставленные историей в благоприятное положение. Впрочем, и сам Гильдебранд чувствует неловкость своего нападения со стороны разнообразия человеческих характеров, климатических условий и старается найти что-нибудь посильнее и поблаговиднее. «Предположим, — говорит он, — что на свете не существует естественного и необходимого разнообразия в человеческой образованности, то и тогда все настоящие и будущие планы общинного хозяйства неприменимы к действительной жизни»¹¹. Но тут автор предается просто пустословию. Уж если он успел доказать, что разные народности мешают войти в жизнь новому экономическому порядку, то следовало бы тем и ограничиться; зачем же дальше вести свои доказательства? Кто ж не знает, что на свете есть и русские, и немцы, и французы: зачем же предполагать, что будто их нет? А! верно совесть подсказала, что вышеприведенный аргумент очень слаб. Это дело другое. Посмотрим, каковы следующие. Новые теории, как известно, учат, что право пользования благами жизни должно определяться личными заслугами каждого, что тунеядцев не должно существовать на белом свете, что труд одного должен быть направляем не к тому, чтоб подрывать благосостояние другого, а к тому, чтоб возвышать его, — одним словом: они хотят ввести гармонию в людские отношения. «Для этой цели, — утверждает Гильдебранд, — необходим конечно закон, который определял бы как отношение личных услуг и наслаждений к целой общине, так и взаимное отношение их между собою, и такая сила, которая поддерживала бы этот закон. Но ни то, ни другое невозможно». Отчего же? — «Сумма всех услуг должна быть равна по крайней мере сумме всех наслаждений; следовательно, закон уравнивания предполагает знание совокупных потребностей и услуг всех членов общины. Но эти услуги можно узнать только из их последствий, а так как способности и потребности людей постоянно изменяются, то никак нельзя наперед предугадать и этих последствий. Следова-

тельно, даже нельзя найти и основания для закона уравниения...» Следовательно, продолжим мы от себя уже, человечество напрасно хлопочет об уравниении прав людских, о пропорциональном отношении между трудом и наслаждением, следовательно ему остается только сложить руки и преклониться пред фаталистическим фактом неравномерного отношения услуг к наслаждению, ведь и основания-то для этого уравниения вовсе нет. Положим опять, продолжает Гильдебранд, что найден этот уравнивающий закон, но невозможно найти тогда такую силу, которая поддерживала бы всегда господство уравнительного закона. Эта сила должна быть сильнее всех членов общины, чтоб могла обуздывать поползновение к непослушанию оной. А так как известное дело, что утописты на место всякой другой силы ставят силу большинства и разума, то существование ее предполагает, что все отдельные лица добровольно подавят в себе свою индивидуальность и откажутся от своей личности. С другой стороны, если власть над общиною будет вручена отдельным лицам и будет основана диктатура, то не будет ручательства в том, что все члены общества подчинятся этой диктатуре, но и потребуются еще другая власть, которая наблюдала бы за первою, третья — за злоупотреблениями второй и т. д. — точь-в-точь, как у полковника Кошкарева¹² контора построений должна наблюдать за конторою донесений, контора донесений за конторою рапортов и т. д. в бесконечность. Сильнее ли эти аргументы предшествующего аргумента, доказывавшего несостоятельность новых учений тем, что существуют на свете разные народы, имеющие свою собственную историю, свои обыкновения, свою цивилизацию и пр.?

Абсолютно справедливый закон уравниения заслуг с наслаждениями, какой представляет себе Гильдебранд, составляет идеал стремления нашего к справедливости. К достижению этого идеала человечество будет приближаться вековыми опытами, — ведь и новый порядок отношений будет иметь свою историю, свой прогресс: разве уж должен он так и замереть в одних формах и стеснять ими вечно развивающийся дух человеческий? Сидеть сложа руки потому только, что дело, за которое надо приняться, слишком громадно, — это смешно и недобросовестно. Если мы сделаем хотя один высший шаг к более правильному определению уравнительного закона услуг с наслаждениями, если в сравнении с настоящим порядком вещей этот закон является более разумным, то и слава богу — мы и тем довольны. Во имя высших идеалов отвергать какое-нибудь хотя бы и не вполне совершенное улучшение действительности — значит слишком уж идеализировать и потешаться бесплодными теориями. Мы знаем, что есть много почтенных людей, воображающих, будто по сущности своей они не люди, облеченные плотью и кровью, а какие-то бесплотные существа, обязанные жить на высших планетах, и вследствие этого воображения задающие себе такие идеалы, которых трудно достигнуть и высшим-то существам. Дело у них большею частью

кончается тем, что после напряженных усилий подняться до своего идеала, они опускаются так, что уже вовсе не имеют пред собою никакого идеала.

Автора «Политической экономии настоящего и будущего» тревожит еще то опасение, что если и будет отыскан уравнилельный закон, так где взять силу, поддерживающую этот закон? Ответ на это очень прост: да она будет заключаться в том же самом законе. Если все члены общества будут довольны своим положением, если прежняя чрезмерная несправедливость между ними уничтожится, так зачем опасаться, будто люди, из худшего состояния поставленные в лучшее, будут нуждаться в силе, которая насильно заставляла бы их оставаться в лучшем положении! Нас скорее занимает другой вопрос: где берется сила поддерживать худой порядок вещей, как теперь сносят люди совершенное уничтожение своей личности? — Решение этого вопроса гораздо мудренее, чем предложенного Гильдебрандом. Ведь различного рода порядки, нуждающиеся во внешней силе для своей поддержки, могут существовать только при отсутствии здравого смысла в устройстве дел человеческих. Пусть здравый смысл будет основанием этого устройства, он же самый будет и силой, поддерживающей его.

Впрочем, Гильдебранд сознается, что мы живем в переходное время, в которое все настоятельнее чувствуется потребность в правильном распределении ценностей и в прекращении вражды между капиталом и трудом. Он не только не отвергает великой задачи нового времени, но даже считает ее величайшею задачею, какую когда-либо предстояло решить человечеству. Стало быть, он чувствует ненормальность того порядка вещей, в каком находится ныне человечество, и постарается поэтому в своей собственной политико-экономической теории, которая должна, без всякого сомнения, отличаться грандиозными и поучительными идеями, предложить средства для улучшения земного быта людей, гораздо лучше тех, какие предлагаются утопистами. Мы готовы от всей души приветствовать будущую теорию Гильдебранда, если только она исполнит ожидания. А в настоящее время рекомендуем пока русским читателям его книгу, как недурное пособие для знакомства с разными политико-экономическими теориями¹³, и просим их не соблазняться только находящимися в ней собственными соображениями автора «Политической экономии настоящего и будущего».

НЕКРОЛОГ ИВАНА ИВАНОВИЧА ПАНАЕВА¹

В воскресенье, 18 февраля, за двадцать минут до полуночи, скончался Иван Иванович Панаев. Для многочисленных его друзей и читателей не будет лишним сказать здесь несколько слов о его внезапной смерти. Ему было 50 лет (он родился в 1812 году), но он до последнего полугодия своей жизни был постоянно здоров

и бодр так, что возбуждал не без основания чувство зависти в людях одних с ним лет. Только в последние месяцы стал он иногда жаловаться на удушье; впрочем, оно его не настолько беспокоило, чтоб возбуждать серьезные опасения в нем или в ком-либо из окружающих его. За две недели до смерти (тоже в воскресенье) с ним сделался ночью сильный и продолжительный припадок удушья, какого прежде не бывало; доктор и близкие лица не отходили более четырех часов от его постели. После этого Панаев два дня чувствовал слабость и оставался дома, а на третий день обратился к обычному образу своей жизни: занятиям, прогулке и т. п. Уступая убеждению близких, он тогда позвал двух врачей, которые подвергли внимательному исследованию его грудь и нашли у него органическое повреждение в сердце. Они дали это понять жене покойного, сказав, что Ивану Ивановичу нужно серьезно беречься и лечиться, а ему заметили вскользь, что сердце у него не совсем в порядке. «Плохо, брат, — сказал Панаев за неделю до смерти одному из своих приятелей, обедая у него, — доктора не велят пить вина, есть пряностей: кажется, они находят у меня аневризм». — Что ж, славная смерть! — отвечал ему приятель. — Конечно! уж если умирать, так умирать вдруг, нечаянно!» Оба смеялись. По тону этого ответа и всего рассказа об аневризме видно было, что Панаев верил докторам разве вполчину и вообще смотрел на это легко.

В день смерти Панаев до 3 часов занимался у себя в кабинете и принимал посетителей. Глядя на него, разговаривая с ним, нельзя было и подумать, что смерть так близка к нему. Обедая он не дома, сделав до обеда два или три визита по делам журнала. Вечер также провел у одного из знакомых. Там был весел и разговорчив, пока не почувствовал некоторого стеснения в груди. Хозяин дома (приходящийся ему сродни) сказал ему, что тут же, между гостями, есть доктор. «Не беспокойтесь, — отвечал Панаев, — мне стоит только вытти на воздух и все пройдет», — и ушел. Это было в половине одиннадцатого. Домой воротился он в 11 часов, без десяти минут; когда человек отворил дверь, он сказал ему: «Веди меня, я не могу итти». Человек довел его до постели и раздел. Панаев приказал сделать себе горчишники и поставил их. В четверть 12-го воротилась из театра его жена и прошла прямо к нему. Он сидел на постели. «Со мной опять припадок, — сказал он ей, — но пожалуйста не беспокойся и не посылай за доктором; этот припадок гораздо легче, чем был тот, — пройдет так». Это было сказано твердым голосом. Однако, помня первый припадок, жена Панаева вышла и послала за доктором, а сама поспешила переодеться. Отсутствие ее из спальни мужа продолжалось не более четырех минут, и когда она воротилась, Панаев уже не мог говорить, он взял ее руку, прислонил к ней голову, и с ним началась агония. Явились вслед один за другим три доктора, но уже бесполезны были всякие пособия: Панаев был мертв.

Иван Иванович Панаев родился в 1812 году, 15 марта, в Петербурге, воспитывался в бывшем благородном пансионе, при С.-Петербургском университете, где и окончил курс в 1830 году, с правом на чин 12-го класса. Службу свою начал в министерстве финансов, оттуда перешел в министерство народного просвещения, где до 1845 года состоял при редакции этого журнала ².

По происхождению, по родству и связям он мог рассчитывать на блестящую служебную карьеру; понятия среды, в которой он вырос и воспитался, тогдашний взгляд на литературу (далеко отличный от нынешнего), общее желание родных, наконец и личный его характер, не чуждый в молодости суетности и тщеславия, — казалось бы, все соединялось, чтоб заставить Ивана Ивановича избрать эту торную дорогу, где ожидал его неизбежный и легкий успех. Однако любовь к литературе пересилила все эти причины, вместе взятые: Панаев очень скоро оставил службу, и никогда уже не возвращался к ней, и не жалел, что пренебрег служебной карьерой для литературы. Начало его литературного поприща легко проследить по его собственным сочинениям, особенно по «Литературным воспоминаниям» ³, но теперь мы пишем не биографию Панаева и потому скажем только, что Панаев, в течение своего тридцатилетнего поприща, имел в литературе нашей свою долю влияния и блестящего, заслуженного успеха: его повести: «Дочь чиновного человека», «Раздел имения», «Белая горячка», «Прекрасный человек», «Русский фельетонист», «Онагр», «Актеон», «Тля», «Барышня», «Барыня» и друг., помещавшиеся преимущественно в «Отечественных записках», — читались с жадностью ⁴. Когда, в 1846 году, некоторые сотрудники, задумав основать свой журнал, покинули «Отечественные записки», то в публике и в литературных кружках того времени говорили, что после Белинского важнейшею потерей для «Отечественных записок» будет потеря — Панаева. Публике известно, какие тесные отношения связывали Панаева с Белинским и как последний любил в Панаеве надежного товарища, даровитого писателя и честного человека. Мы обращаем внимание на этот факт потому, что Панаев, горячо любивший и уважавший Белинского, сам любил припоминать о своих отношениях к нему, он гордился ими ⁵. Вообще же говоря, Панаева любили все, кто только знал его: столько было в нем доброты, мягкости и той привлекательности, которая сообщается человеку преобладанием в нем хороших душевных свойств. Разумеется, были у него и враги.

Тернисто поприще журналиста, на которое вступил Иван Иванович в 1847 году и на котором простоял он в течение 14 лет во главе журнала, испытавшего столько превратностей, любимого публикою, нелюбимого большею частью литературных и журнальных кружков, не искавшего себе опоры ни в чем, кроме убеждений, которые признавал истинными и которым служить считал себя призванным. На этом поприще, при известных данных, легко приобретаются друзья — между читателями, и еще легче и не-

избежно приобретаются враги — между собратами по ремеслу и вообще пишущими. Если название врагов для этих последних слишком громко, то назовем их недовольными. Этих недовольных Панаевым в течение 14 лет, конечно, накопилось не мало. Все, кому журнал отказывал в помещении их статей и которые потом находили приют в других изданиях, все, о ком журнал отзывался неблагосклонно, а затем фаланга их сочувственников, — вот из кого составляются эти толпы недовольных. Отсюда неоспоримая истина, что если б явился журналист, соединяющий в себе все идеальные совершенства, то и о таком журналисте в общей массе текущих ежедневных толков преобладало бы суждение неблагосклонное, невыгодное для его репутации. Соображая все это, мы должны сказать, что недоброжелательство, клевета и вообще всякие неблагоприятные посягательства коснулись Панаева даже менее, чем можно было ожидать в его положении. А смерть мгновенно положила предел и этим посягательствам, пробудив сознание справедливости, присущее каждому. Глубокое всеобщее сожаление, с которым встречена была внезапная весть о смерти Панаева в Петербурге (где он постоянно жил и где он был одним из популярнейших людей, каждому известных если не по деятельности, то хоть по имени); многочисленные толпы народа, всех званий, от лиц значительных до простолюдинов, приходившие поклониться Панаеву в течение трех дней, когда тело стояло в его кабинете; наконец огромное стечение публики, присутствовавшей при отпевании тела покойника в Преображенском соборе и провожавшей гроб его (несенный на руках, перемежавшимися почитателями Панаева до Невского монастыря), — все это показало, что истинные заслуги покойного поняты и оценены, что общество никогда не переставало уважать в нем даровитого, честного деятеля, до последнего дня жизни оставшегося верным своему призванию, по мере сил!

Да, действительно, — независимо от даровитости, степень которой каждый вправе определять по-своему, это был истинно честный, кроткий, незлобивый человек. Как литератор, он представлял собою нечто особенное: он смотрел на дело, которому посвятил свою жизнь, серьезнее, чем многие думают, и постоянно работал над собою, стараясь о собственном совершенствовании, — это факт, известный всем, кто знал его долго и близко. Не о многих из людей, как бы богато ни были они одарены, — можно сказать то же самое. Убеждения его не застывали в неподвижную форму с приближением старости; симпатии его в 50 лет, как и в 25, были на стороне молодого поколения.

Вечная память тебе, честный, бескорыстный человек, добрый товарищ, полезный общественный деятель! Уверенность, что русское общество из глубины души повторит за нами эти слова, смягчает несколько горечь потери, которую мы оплакиваем. Нас эта потеря застигла слишком неожиданно и потрясла глубоко. Да! и ты умер рано, ты мог бы еще жить и работать с нами...

За четыре месяца до своей смерти, провожая на кладбище Добролюбова (положенного в дубовый необитый гроб), Панаев между прочим заметил: «Я желал бы, чтоб меня положили в такой же гроб». Это желание его было исполнено. Похороны Ивана Ивановича не сопровождались пышностью, кроме той, которая сообщается погребальной процессии присутствием многочисленной толпы, пришедшей добровольно, без зова отдать последний долг любимому человеку. Тело Панаева погребено на кладбище Фарфорового завода, где схоронены его отец и дети.

Когда будут разобраны бумаги покойного, мы сообщим читателям то, что можно будет напечатать из посмертных трудов его. Мы также приложим к «Современнику» портрет Ивана Ивановича. Само собою разумеется, что мы употребим все усилия, чтоб этот портрет был хорош. Он будет выгравирован на меди, за границею⁶.